

Зорин А.

## Пророк в своем отечестве

Максимилиан Александрович Волошин родился в Киеве в 1877 году в Духов день — 16 мая. Предки его, по отцовской линии Кириенко-Волошины, — казаки Запорожской Сечи. Один из них слагал думы — народные песни, политический смысл которых пришелся не по нраву польским панам. За что они и расправились с правдолюбцем: содрали с живого кожу.

Отца Волошин не помнил. Отец жил от семьи отдельно и умер, когда мальчику шел пятый год. Воспитывала его мать, верная участница всей его жизни. Елена Оттобальдовна была обрусевшая немка. Ее экстравагантная внешность обращала на себя внимание и в Париже, куда она приезжала к сыну, и в Коктебеле, где она имела клочок земли, ставший впоследствии своеобразной Меккой для многих поколений писателей.

Детство Волошина, по его словам, проходило в кругу взрослых людей, домашних животных, книг. В пять лет он уже бегло читал, а еще раньше помнил многое наизусть из русской классики. Учась в гимназии и университете, переводил из Гейне, Ленау, Фрейлиграта. На его развитие влияли и французские писатели, особенно Верлен и Малларме. Позже Волошин назовет Париж своей духовной родиной. С детства он бредит стихами и даже «молится о том, чтобы стать поэтом». В ранних поэтических опытах заметно подражание Брюсову.

Гимназию он закончил в Феодосии, провинциальном городке, вдали от родительского дома. В нем рано проявилась самостоятельность. Ничему путному, как ему казалось, он в гимназии не научился, равно как и в Московском университете, куда поступил в 1897 году на юридический факультет.

На втором курсе, за участие в студенческих беспорядках, его исключают из университета. С этого времени начались годы странствий. Ссылка — сначала в Феодосию, потом в Ташкент. Правда, перед Ташкентом он успел побывать за границей, подышать воздухом настоящей свободы.

Полгода, проведенные в туркестанской пустыне, обострили в нем жажду знаний, и он видит «всю европейскую культуру ретроспективно — с высоты азиатских плоскогорий». Здесь он открывает для себя таких философов, как Ницше и Владимир Соловьев, и здесь же приходит к убеждению, что Париж — «альма матер» современной культуры. «Отсюда, — вспоминает он позже, — пути ведут меня на Запад — в Париж, на много лет учиться: художественной форме у Франции, чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мысли у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, стиху — у Готье и у Эредиа...»

Семилетие с 1905 по 1912 год Волошин определит для себя как время блужданий духа. Он ищет религиозные и философские основы жизни, без чего, как он понимает, немислимо творчество.

Его интересуют эзотерические и оккультные учения, буддизм и магия, католичество, теософия, штейнерианство. Рудольф Штейнер, немецкий философ-мистик, основал антропософское общество, куда вошли и русские — писатели, художники. Оно предполагало объединить нации и религии. Волошин участвовал в строительстве общего храма, заложенного в живописном местечке Швейцарии. Построенный храм в первую же ночь сгорел — от поджога.

Антропософия повлияла на русскую, да и на мировую культуру в конце прошлого и начале нынешнего столетия — в одну из кризисных эпох, которые когда-либо испытывало христианство. Штейнер, в частности, утверждал, что духовность романо-германской культуры изжита. На смену грядет более молодая, еще не раскрывшая себя славянская

культура, призванная сыграть решающую роль в истории человечества. Эта мысль не могла не волновать русскую интеллигенцию.

Современники говорили, что штейнерианство было настоящим откровением для Волошина, «самой тайной его страстью». Оно питало его романтическую природу, затрагивало область мистики. Иван Алексеевич Бунин в своих воспоминаниях, не без иронии, отметил: «Он антропософ, уверяет, будто люди суть ангелы десятого круга, которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом, самом худшем человеке сокрыт ангел...»

Такая позиция близка христианской, уповающей на неистребимую ценность личности. Близка утверждению Достоевского, который устами своего героя говорит: «В каждом человеке дьявол с Богом борется, а поле битвы их — сердца человеческие». Подобные взгляды, отнюдь не умозрительные, отстаиваются в поэзии Волошина до убедительности афоризма: «...в каждом Стеньке — святой Серафим».

Так или иначе, антропософия приблизила мировоззрение поэта к христианскому, что дало ему ключ к пониманию современных событий, а главное — СВОЕ поведение в их устрашающей путанице. Правда, ему близки, в большей степени, размытые формы христианства, лишённые ортодоксальной церковной традиции.

Пребывание в Европе обогатило поэта не только теософскими познаниями. Он берет уроки живописи у известной художницы Е. Кругликовой. Посещает лекции в Лувре, Сорбонне, бывает в театрах, не пропускает ни одного вернисажа. В Париже он познакомился со своей будущей женой М. Сабашниковой, брак с которой, однако, оказался недолгим.

Отсюда он посылает в Россию регулярные отчеты о культурной жизни Франции. Его печатают такие издания, как «Весы», «Аполлон», «Русь», «Биржевые ведомости». Многочисленные статьи об изобразительном искусстве, театре, литературе во Франции и в России составили бы несколько томов... Первый и единственный, «Лики творчества», вышел в 1914 году в Петербурге. Этой книге предшествовала поэтическая: «Стихотворения 1900–1910». Первую книгу поэта заметили и положительно отозвались о ней столичные литераторы — Михаил Кузьмин, Вячеслав Иванов.

Эстетика Волошина, определившаяся уже в первой книге, несет в себе черты символизма, которые сохраняются и в более позднем реалистическом письме. Ибо, по его словам: «Символизм неизбежно зиждется на реализме». «Быть символистом... значит в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира».

Война застала его в Швейцарии. Он отвечает на нее книгой пацифистских стихотворений «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»). А в 1917 году он пишет в письме из Коктебеля: «Мое отношение к войне не изменилось, но появилось новое чувство: личной ответственности за поведение России. Все невыносимо и тревожно: никто не знает ни смысла, ни объема тех сил, что призваны к действию. Точно кидаешься с шестого этажа и даже не знаешь, куда полетишь — вверх или вниз, потому что самые законы тяготения изменились... С горечью заглядываю в глубину души и думаю о том, что внешний мир так расхлябался, что, очевидно, много лет придется думать только о нем. Хорошее время для тех, кому надо бежать от самого себя».

Уединившись в Коктебеле, и теперь уже окончательно, Волошин не бежит ни от себя, ни от мира. Да и можно ли назвать уединенным место, где находит убежище всякий, кому угрожает террор!

И красный вождь, и белый офицер,  
Фанатики непримиримых вер,  
Искали здесь, под кровлею поэта,  
Убежища, защиты и совета.

На протяжении многих лет Коктебель был настоящим культурным центром. Сюда к Волошину приезжали поэты, художники, литераторы из обеих столиц. Гостеприимный

хозяин и его мать не брали за постои никакой платы. Теперь же нравы изменились. Местные власти взирали на домовладельца подозрительно. Бескорыстие своего странно-приимства надобно было доказать...

Мягкость и даже «плавность» натуры поэта хорошо сочеталась с его внешностью — грузной, приземистой. Внешне он совсем не походил на интеллектуала, скорее на извозчика или купца из пьесы Островского. Только пронизательный взгляд за стеклышками пенсне выдавал в нем человека глубокого ума. При своем весе он был удивительно легок. В походке, в быстрых точных движениях, не ощущалось излишества тела, полнота которого явилась следствием врожденной болезни. В Коктебеле он носил простую одежду — балахон, сандалии; буйные волосы, зачесанные со лба, подвязывал жгутиком полыни или ремешком. В руке — посох. Неутомимый ходок — по горам, по родной киммерийской пустыне, он изучил этот край с дотошностью ученого. К нему за советом обращались и геологи, и археологи, и этнографы. По его плану была сфотографирована с аэроплана та часть моря, под которой, как он полагал, находятся остатки древнегреческого города Каллиеры. На это указывали старые книги и апокрифические карты. Предположение подтвердилось.

Обширные знания и мощный интеллект поэта не принижал собеседников, допускал общение на любом уровне. Речь его, нередко блиставшая остроумием, звучала плавно, негромко, доброжелательно. Давно замечено, — чем значительней человек, тем проще он держится.

В доме принимали всякого, кто просился на ночлег. Более того, многочисленные обитатели «обормотника» (так в шутку величалась компания гостей) помнили неукоснительное правило: относиться к каждому приезжему как к своему личному гостю. Но однажды Волошин отказал просителю. Не желая объясняться с домашними по этому поводу, он доверился внутреннему чувству, которое его не обмануло. Пришельцу собрали денег, но дома не оставили. Он, как потом выяснилось, оказался убийцей.

Природа наделила Волошина еще одним даром — ясновиденьем. Известны его способности хироманта. Читая чей-нибудь характер по линиям на ладони, он никогда не заглядывал в будущее. Не предсказывал того, что лежит в пределах человеческой воли, что зависит от свободного выбора. Как современные экстрасенсы, он умел лечить пассажи, снимал головную боль.

В этих «семи пудах мужской красоты», как он с улыбкой говорил о себе, прятался зачинщик всяческих забав — неугомонный ребенок. Мистификациям в Коктебеле не было конца. Всякий раз кто-нибудь попадал в хитроумную ловушку. А чего стоит история с Черубиной, переполошившая весь литературный Петербург и окончившаяся так трагикомично — дуэлью Волошина и Гумилева, на которой один из секундантов, поэт Михаил Кузмин, оставил в снегу калошу...

Ирония и философская сентенция, веселость и сосредоточенность не исключали друг друга. Но иногда он был серьезен настолько, что окружающие не могли понять его... Так случилось, когда он нашел, забытую кем-то на берегу, книгу из своей библиотеки. После этого случая он запретил выносить книги на пляж, предлагая читать только в доме. Молодежь, демократически настроенная, обижалась на него целую неделю, обвиняя в собственничестве и буржуйских привычках. Но хозяин был непреклонен. Он, предвидя надвигающуюся девальвацию культуры и человеческой личности, относился к книге как к человеку. И действительно, когда закрылись для широкого читателя спецхраны публичных библиотек, в Коктебель можно было приехать и с разрешения вдовы поэта, Марии Степановны, углубиться в собрание редких журналов, в какую-нибудь крамольную по тем временам книгу.

1917 год лишил Волошина дара речи. Он почти не писал. А между тем только в стихах полагал он возможным выразить свои мысли и впечатления о свершившемся. Но уже в 1918 году пишет книгу стихотворений о революции «Демоны глухонемые», которая вскоре и будет издана в Харькове.

Блестящий эссеист, литературовед и исследователь искусств отступает, уступив место художнику и поэту.

Когда-то во Франции он взялся за кисти для того, чтобы полнее разобраться в современной живописи, чтобы ему, теоретику, досконально познать творческий процесс. Теперь он не расстается с красками и часто день начинает с этюдов, бесконечно варьируя киммерийские пейзажи. Это были его утренние медитации, своеобразная молитва философа, настраивающая душу на миролюбивый лад.

Киммерия — священный отпрыск Эллады. Изю дня в день, наблюдая величественную любимую землю, Волошин мог сравнить ее былую славу с событиями текущего момента. «Как Греция и Генуя прошли, так минет все: Европа и Россия...»

Кто-то назвал его пейзажи «метагеологическими». В них прочитывается не сходство, а судьба земли, то, что и хотел запечатлеть художник, некогда написавший в статье о Родене: «Великие портретисты передают не сходство, а судьбу...»

Но если пантеистический взгляд на природу ему подсказали японские живописцы (Хокусай, Утамаро), то взгляд на историю, на человека обусловлен христианской традицией. Его хронику революционных лет и гражданской войны метаисторической поэзией не назовешь.

В Крыму он оказался не над схваткой и не вне ее, как считали некоторые критики, а внутри, в самой смертоносной гуще. И не география была тому причиной. А выстраданная позиция христианина: в братоубийственной войне разделить участь всех жертв.

В письмах девятнадцатого года он пишет: «Какое страшное время, и какое счастье, что мы до него дожили...» «Мои стихи одинаково нравятся большевикам и добровольцам...» «Я... относясь ко всем партиям с глубоким снисхождением, как к отдельным видам коллективного безумия, ни к одной из них не питаю враждебности: человек мне важнее его убеждений. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволил,— это мешать людям расстреливать друг друга».

На его счету много спасенных жизней, в их числе — Осип Мандельштам, Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой, Кузьмина-Караваева, известная позднее под именем матери Марии.

Он не изменял своей вере, не сомневаясь, что в человеческой душе, подверженной многим влияниям, теплится нетленный жар, тот начаток истинного человека, за которого и умер Христос.

Его позиция, конечно, была уязвима с обеих сторон. В толпе непримиримых врагов миротворцу должно доставаться отовсюду. Но он не чувствовал ударов, точнее, не придавал им значения, ввиду той единственной миссии, которую избрал.

Людей, спасая, приходилось отбивать и доблестью и хитростью. Как-то, чтобы пробиться к начальству через многолюдную и шумную канцелярию, он стал громко читать свои стихи. Поведение необычное для посетителя. Начальник уловил из своего кабинета странный ритмический шум и, любопытствуя, отворил дверь... Что и нужно было настойчивому просителю. Общаясь с человеком, еще не потерявшим способность откликнуться на голос разума и совести, Волошин находил слова, убеждавшие отменить смертный приговор.

Характерен случай с бывшим генералом Н. Марксом, обвиненным в связях с большевиками. Его арестовали и приговорили к расстрелу. Узнав об этом, Волошин срывается из Коктебеля, едет в Феодосию, потом в Керчь, потом в Екатеринодар. В пути ему приходится говорить с начальником местной контрразведки, свирепым и бесцеремонным, в руках которого оказалась жизнь несчастного генерала. Волошин, объясняясь с ним, в душе непрестанно и горячо молится. Молится за... палача. «Мы выучились верить и молиться за палачей...» — из стихов 1921 года.

По убеждению христианина, человек, убивающий другого, убивает и себя тоже. Он тоже жертва. Жертва самого себя — скрытых или неуправляемых демонических сил. И, значит, нуждается в сострадании, в участии. И что, как не молитва участливого

человека, может смягчить его сердце! Духовное усилие поэта наверняка сказывалось в критической ситуации. Создавало, как бы мы сейчас сказали, активное поле, разряжающее ожесточенную напряженность. И доводы милосердия бывали услышаны.

Он проводил знак равенства между противниками, соотнося «буржуазию и пролетариат, белых и красных, как антиномические явления единой сущности».

Он не сидит на месте. Его встречают и в Керчи, и в Севастополе, и в Харькове, и в Одессе. Он то читает лекции в Народном университете, то ездит, как заведующий охраной памятников искусства и науки, открывает свою выставку акварелей, устраивает авторский вечер. Пафос его поэзии — в сострадании к враждующим.

А я стою один меж них,  
В ревущем пламени и дыме  
И всеми силами своими  
Молюсь за тех и за других.

В братоубийственной распре он не берет сторону одного из братьев, он — с Матерью, с Россией, которая должна одинаково жалеть своих сыновей. Это была мужественная и редкая по тем временам позиция.

В одном из писем он признается: «И вот неожиданный опыт гражданской войны: чем человек более жесток и более обогретен кровью, тем легче с ним иметь дело, если подходишь к нему без злобы, без страха и без осуждения. Проливаемая кровь смягчает волю, делает ее пластичной, как воск... я это проверил многократно в разных столкновениях с самыми страшными начальниками Контр-Разведок и Чрезвычайек, когда приходилось отстаивать чужие жизни». Он не только защищал, но и защищался. Общественному обвинителю В. Талю, заподозрившему его в монархизме, отвечает: «Ваши домыслы о моем «монархизме» не больше чем прокурорская подтасовка». И правда, о каких политических пристрастиях могла идти речь, если его чаянием, его идеалом был Град Божий, стоящий в конце времен, путь к которому «вся крестная, страстная история человечества».

Грабители ни разу не позарились на его имущество, которое в основном состояло из книг. Что стоили тогда книги!..

Жили Волошины крайне бедно, хотя дом по-прежнему полон гостей в летние месяцы. Позже он отдаст свои пенаты — и тем самым сохранит их — под бесплатный дом отдыха для писателей. Луначарский выхлопотал ему пенсию, но получал он ее недолго. Революционные события Волошин воспринимал в контексте всей мировой истории, не только русской. И различал в них национальные нервно-религиозные симптомы. Его и раньше притягивала загадочная двойственность русской души. Он верил, что «у каждого народа есть свой мессианизм... представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества». Судьба России открывалась ему сейчас с провиденциальной ясностью. Он безбоязненно смотрит в ее раскаленные недра. «И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской Земли, нового Смутного времени».

Послереволюционная поэзия Волошина пронизана профетическим духом — неумная страстность пророка заключена в классическую форму. Но поэту стал как будто тесен порядок благозвучной ритмической речи. Жизнь казалась настолько дисгармоничной, что искусству — этому ревностному хранителю гармонии — приходилось искать новые адекватные формы. Мастер изысканной, изощренной техники, создавший два венка сонетов, вдруг пишет большие вещи разнотактными стихами, опрошенным фразовиком. Предпочитает все чаще нерифмованный белый стих. Но и здесь мастер не отказывается от филигранной отделки, от прозрачной и вместе с тем полновесной поэтической формы. Его творчество 1920-х годов — это летопись, прозаически грубая и честная без прикрас.

Белым стихом написана поэма «Путями Каина», имеющая подзаголовок «Трагедия материальной культуры», начало которой связано с братоубийством. Библия «подчеркивает роль Каина и его потомков в создании материальной цивилизации. В этом, возможно,

содержится указание на то, что цивилизация падшего человека несет в себе семена зла», — пишет современный отечественный богослов в комментарии к Священному писанию. Точка зрения Волошина не расходится с библейской. Выраженная в безупречной художественной форме, на уровне современного сознания, она сама является развернутым комментарием к 4-й главе книги Бытия.

Бунину, кстати, не нравился жестокий реализм, допущенный в поэзию. Автор «Окаянных дней» считал кощунством обо всем говорить в стихах. А Волошин не считал, ибо произрастал от другого корня русской литературы, давшего некрасовскую поросль.

Волошин оставил нам монументальные фрески, собрание ликов и личин (один цикл так и называется «Личины»), дал целую галерею: «Красногвардеец», «Матрос», «Большевик», «Спекулянт» и т. д. Эти портреты интересны все тем же: не только типологичностью моделей, а их очевидной судьбоносностью. Некоторые стихи «Усобицы» можно бы назвать документами: так сильна в них конкретика, не занимавшая ранее столь существенного места в его творчестве. Сам Волошин не делил свое творчество на до- и послереволюционное. «Мои стихи о России, написанные за время революции, вероятно, будут восприняты как мое перерождение... Но это внешняя разница. Я подошел к русским современным историческим темам с тем же самым методом творчества, что и темам лирическим первого периода моего творчества. Идеи мои остались те же. Разница только в палитре, которая изменилась соответственно темам, а м. б. большей сознательности формы».

Его станут упрекать в засилии смысла, в выпячивании содержания, за которым якобы теряется культура слова. В будущем, дескать, эти стихи вызовут интерес как исторические манускрипты, а не произведения поэтического искусства. Но семьдесят лет, прошедшие после их написания, — немалый срок, доказывающий обратное.

Профетизм волошинского духа хочется сравнить с библейским. Путь современной истории России, по его мнению, может быть осмыслен только в свете Священной истории. Отступничество от Истины, братоубийственная война, мучительный поиск высшей правды — все это чудовищные и повторяющиеся зигзаги того пути, в конце которого стоит Град Божий, то есть Новый — Небесный — Иерусалим. Поэтика этого периода, да и содержание наполнены религиозным смыслом. Об этом можно судить даже по названиям стихотворений: «Демоны глухонемые» (с эпиграфом из пророка Исая), «Неопалимая купина», «Видение Иезекииля», «Ангел времен», «Из бездны», то есть — из глубины: мотив 129-го псалма, мужественная обнадеживающая нота:

Для разума нет исхода.  
Но дух, ему вопреки,  
И в бездне чует ростки  
Неведомого всхода.

«Родину» он тоже начал словами Исая, раскрыв Библию в ночь на 1918 год именно на этой строке: «Каждый побрел в свою сторону; никто не спасет тебя». «Русь глухонемая» — это стихотворение рождается из евангельского сюжета, где сказано об исцелении глухонемого бесноватого отрока. Волошин почти буквально (как это сделал когда-то Пушкин с молитвой Ефрема Сирина) переводит в стихи известный текст: «Сей же род (то есть болезнь) изгоняется только молитвою и постом». (Мф. 17.21). А неизцеленному отроку, или народу, останется одно:

Пожрать богатства, сжечь леса  
И высосать моря и руды...

Зло самоубийственно. Он предрекает его обреченность с евангельской простотой:

Они (бесы) вошли в свиное стадо  
И в бездну ринутся с горы.

Вообще вне библейской и христианской символики невозможно понять Волошинское творчество этого периода и тем более оценить его жертвенную жизнь. Невозможно

вне этой символики понять русскую идею, прорастающую сквозь историческую почву в таких программных стихотворениях и поэмах, как «Протопоп Аввакум», «Сказание об иноке Епифании», «Россия», «Дикое поле», «Стенькин суд», «Китеж», «Владимирская Богоматерь», и многих других. Иначе мы рискуем оказаться в положении людей, попавших в музей мирового искусства и никогда не слышавших о Христе.

Смысл и обновленная лексика этих лет в его творчестве уходят к глубинным культурным слоям — библейскому и древнерусскому.

Он трезво оценивал настоящее и не обольщался насчет будущего, если оно не усвоит уроков истории. Трезвость взгляда не перечеркивала веры — в человека и в Россию. В человека, свободного от сознания своей непогрешимости. Только такая личность, только такая нация, «зараженная совестью», способна к перерождению.

Мы погибаем не умирая,  
Дух обнажая до дна...  
Дивное диво — горит, не сгорая,  
Неопалимая купина.

Скончался Волошин 11 августа 1932 года в Коктебеле. Похоронен там же, на вершине горы, откуда, как и из его мастерской, виден простор Киммерии, наследницы многих культур — скифской, эллинской, римской, готской, византийской, русской...